

Оглавление

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая	8
Глава вторая	29
Глава третья	56
Глава четвертая	67
Глава пятая	103

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая	126
Глава вторая	159
Глава третья	195
Глава четвертая	220
Глава пятая	252

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава первая	270
Глава вторая	302
Глава третья	338
Глава четвертая	367
Глава пятая	382

Глава первая

1

Хаты стояли на острове. Остров этот, правда, не всякий признал бы островом — о берега его не плескались ни морские, ни даже озерные волны. Кругом только гнила кочковатая трясина да мокли понурые леса.

Деревня ютилась на берегу острова — плетни огородов кое-где забегали на кочки приболотицы. С другой стороны, на север, болота чуть отступали, даря людям песчаное поле, по краю которого под низкорослым ельничком тихо белели кладбищенские кресты. Отступали болота и на западной стороне, где то зеленели, то желтели до самой лесной опушки поля, тоже скупые, неблагодарные, хотя в их почве и было меньше песка. С юга болота снова подбирались к соломенным обомшелым крышам, но отсюда преимущественно поддерживалась связь с внешним миром, и тут по трясине была намощена дорожка. Что это за дорожка, можно судить хотя бы по тому, что ездили по ней смело только в морозы, когда и непролазная топь делалась твердой, как ток, или в летнее время, когда дорожка высыхала.

Большую часть года остров был как бы обособлен от других деревень и местечек. Даже в погожие дни редкие газеты и письма от сыновей и братьев добирались сюда в полещущей торбе с трудом — кому была охота лазить по грязи без достаточно важной причины, — но и эта непрочная связь с миром при каждом затяжном дожде легко рвалась. Осенью или весной она прерывалась на целые месяцы: трясина, страшно разбухавшая от мокряди и половодья, напрочь отрезала остров от мира. Долгие дни люди жили как на плоту, оторванном ненастьем от берега и унесенном в открытое море, — только и оставалось ждать, когда попутный ветер или судьба вновь подгонят его к земле.

Но такое положение тут никого не тревожило, людям на острове оно казалось обычным. Со всех сторон, близко и далеко, знали они, — такие же самые острова среди бесконечных зыбунов, диких зарослей, что раскинулись на сотни верст с севера на юг и с запада на восток. Людям тут нужно было жить, и они жили. Однообразные, нудные дожди, месяцами поливающие мокрые стрехи, студеные ветры, люто бьющие в замерзшие подслепые оконца вьюгами, теплое солнце, встающее в погожие дни над купами олешника, — все видело этот остров хлопотливым, в неустанной ежедневной деловитости. Люди всегда чем-нибудь были заняты: утром и вечером, летом и зимой, в хате, на дворе, в поле, на болоте, в лесу...

Жили уже Курени и в эту июльскую рань. Когда солнце вырызнуло первые лучи между вершинами Теремосского леса, из труб на куреневских крышах вились тихие утренние дымочки, в раскрытых хлевах тут и там слышалось дзиньканье молока о подойники, незлобивые и строгие покрики женщин. В нескольких дворах звуки эти перебивал частый, усердный клеткот железа о железо — косцы ладили, отбивали молотками косы, готовились идти на болото. На пустынной улице, с торбой через плечо, нанизывая босыми ногами темный след на подбеленной росой траве, шел, размахивая длинным веревочным кнутом, еще сонный хлопец-пастух. Он время от времени звонко хлестал кнутом и однообразно, хрипловато выкрикивал:

— Ко-ро-вы!.. Ко-ро-вы!.. Ко-ро-вы!..

Голос его после сна был неокрепший, надрывать ему не хотелось, и он как бы помогал себе ленивым, но звонким хлопаньем кнута. Ворота на улицу быстро раскрывались, коровы неспешно, с благородной степенностью сходились в стадо, которое богатело рыком, пестрело, ширилось на всю улицу. Когда оно дошло до конца села, из последнего двора выступила рыжая с белой пролысинкой корова, которую подгоняла хворостиной чернявая девушка. Загнав корову в стадо, девушка бегом вернулась в хату. Но не успело еще стадо выползти из улицы, как она уже с деревянным ведром в руке снова появилась во дворе. Она подошла к колодезному срубу, что одной стороной выходил на соседний двор,

брякнула, нацепила дужку ведра на крюк оцепы. Журавель шевельнулся, быстро подался вниз, к воде, удовлетворенно, радостно заскрипел.

Зачерпнув воды, девушка уже привычно намеревалась потянуть оцеп, но вдруг раздумала, ослабила руки. Наклонившись над колодцем, поддерживая оцеп рукой, чтобы не качался, стала смотреть вниз, ждать, когда успокоится вода. Она хотела, наверное, посмотреться в воду, но из хаты вдруг послышался недовольный крик:

— Ганно-о! Где ты, нечистая сила?!

— Я зараз!.. Несу уже!..

Девушка заторопилась, быстро сняла ведро с крюка и, расплескивая воду на песок, подалась к хате...

На соседнем дворе, возле хлева, возился у телеги бородастый, в холщовой длинной рубахе мужик — маслено поблескивающим на солнце дегтярным квачом мазал оси. Неподалеку от него, привязанная к изгороди, стояла неуклюжая головастая лошадь, лениво что-то искала в траве... Во дворе, что был за этим, женщина несла корм свинье и подсвинку — они хрюкали и визжали так жадно и нетерпеливо, что их визг на минуту заглушил все другие звуки куреневского утра.

— Тихо! Нема на вас угомону! — прикрикнула на них женщина, суя поживу, на которую свиньи набросились, давясь, отталкивая друг друга и кусаясь. Особенно лютовала худая свинья, и женщина искала глазами какой-нибудь дрючок, чтобы успокоить ее, отогнать от подсвинка. Но дрючка не нашлось, и она, зло пнув свинью босой ногой, в трещинах и ссадинах, пригрозила:

— Вот я зараз тебе!..

С каждой минутой Курени все больше наполнились людскими голосами, движением: на одном дворе мать звала сына, на другом плакал, заливаясь слезами, не вовремя разбуженный ребенок. Во двор возле липы мужчина вводил коня, со двора напротив выгоняли поросят, и шло за ними покорное замурзанное дитя, по-стариковски ссутулив спину...

Из хаты, неподалеку от той, где дивчина брала воду, вышел на крыльцо, потягиваясь, хлопец с угрюмыми заспанными глазами, с лохматой не то русоватой, не то темной чуприной, с упрямыми губами.

Мать пожалела будить его раньше. Но и теперь просыпаться ему было нелегко: когда его будили, в голове какое-то время мешались и картины прерванных странных видений, и слова матери, и назойливый клекот аиста... Жмурясь от солнца, Василь на крыльце вспомнил про этот клекот, прислушался: кто-то поблизости отбивал косу — клё, клё, клё. В голове шевельнулась безразличная мысль, что это и был тот клекот, который в дремоте показался аистиным.

Вслед за тем на память пришли слова, какими его будила мать: «Встань, сынок... Встань, уже все встали... Поздно будет...» Он глянул на солнце — где оно, низко или высоко — и на миг ослеп от его блеска. Он, было хорошо заметно, сразу словно ожил, забеспокоился — солнце сияло, ему показалось, высоко.

«Не разбудила по-людски! Когда все вставали! — подумал недовольно и тут же озабоченно подался с крыльца. — Коня надо скорей привести!.. А то выберешься поздней всех из-за матери этой! Сором будет!..»

Он рысцой поспешил к болотистому лужку, где паслась у ольшаника спутанная лошадь. Когда въехал во двор, увидел сутуловатого, с желтой лысиной деда Дениса, который хлопотал около телеги. Дед несколько дней назад ловил рыбу, вымок и простудился — вчера пластом лежал на печи, а сегодня, на тебе, тоже поднялся.

— Поправились уже? — бросил Василь, соскочив с коня.

— Эге, поправился! — понуро помотал головой дед. — Тем часом, как дитя, что первый раз встало...

— Дак легли б пошли.

— Улежишь тут! В этакый день! — Дед провел худой ладонью по животу лошади. — Наелся непогано!

— Наелся.

Василь привязал лошадь к подмазанной еще с вечера телеге и вошел в хату; мать стояла у печи, шевелила в ней кочергою. Услышав сына, не оглядываясь, заторопилась, и Василю от этого молчаливого знака материнского внимания и уважения к нему стало веселей. Он, однако, не показал, что заметил это, — чему тут удивляться, если он уже не мальчишенок какой, а хозяин, — бросил ей деловито:

— Собирайся... Чернушки уже едут...

Он зашел в клетушку, снял отбитую дедом косу, попробовал, как учил Чернушка, ногтем острие — хоть это он уже делал вчера несколько раз, — вытащил из-под полатей лапти и стал обуваться. Володька, меньшей белявый братик, спавший на полатах, продрал глаза, глянул на Василия и мигом вскочил.

— Вась, а Вась — и я?!

— Лежи ты, нуда! Чего всперся ни свет ни заря!

— Вась, возьми меня... с собою!

— Нужен ты мне!

— Ну, возьми-и!

Напрасно Володька ждал ответа, глядя на брата глазами, которые просили и молили, не желая верить в братову черствость. Василь молчал. Он был непреклонен. Обувшись, Василь озабоченно пошаркал в хату, по-прежнему словно не замечая брата, который, как привязанный, топал вслед.

Когда мать подала на стол оладьи и даже — чудо! — сковородку с салом, Володька почти не удостоил всего этого вниманием, по-прежнему ждал.

— Ну, Вась?

— Дай ты, тем часом, поесть человеку, — сказал дед, что уже горбатился за столом, но ничего не брал в рот. — И сам ешь.

— Гляди вот, — ласково приступилась мать.

Она умышленно положила перед Володькой оладьи и кусочек рудого сала, глянув на которое Володька не выдержал и на время отстал от брата. Мать подала ему еще кусочек, добавила еще несколько ласковых слов, и сердце хлопчика смягчилось. Но вскоре ему пришлось убедиться, что эта материнская доброта была всего-навсего хитростью, потому что, едва Володька поел, мать мягко, ласково сказала:

— Ты, сыночек, будешь с дедом, хату постережешь. Да гляди хорошенько — все добро тут на ваших руках!.. Не дай бог что случится — сголеем совсем!

— Я на болото хочу! — упрямо заявил малец.

Подчищая оладьей сковороду, Василь твердо бросил:

— Мало чего ты хочешь!

С какой завистью и тревогой наблюдали Володькины глаза, как у хлева запрягал старший брат муругого Гуза, угрожа-

юще покрикивая, как дед укладывал косу, как мать привязывала торбу с харчами и оборачивала вкинутой в воз травую дубовую баклажку с водой. Следил хлопчик то за матерью и дедом, то за братом, нахмутив шелковистые, выпцветшие на солнце бровки, никак не мог поверить в человеческую бессердечность, ждал с тайной надеждой желанной перемены.

Василь дернул веревочные вожжи, и подвода медленно покатила по двору на улицу. Тут Василь огляделся — по всей деревне, почти у каждой хаты, стояли телеги, косцы, женщины и дети. На всей улице было на редкостьлюдно, вся она жила доброй человеческой озабоченностью.

Мать почему-то еще раз забежала в хату, потом сказала деду, чтобы не надрывался, пошел лег, стала наказывать Володьке, что ему нужно и чего нельзя делать: чтоб был при хате, чтоб слушался деда, чтоб не баловался с огнем, — и Володька почувствовал, что последние его надежды улетучиваются.

— Не хочу! — ответил одним словом Володька.

— А этого во — хочешь? — погрозил ему кнутом брат.

Володька только еще больше насупил брови. Мать же все не теряла надежды договориться по-хорошему.

— Я тебе кулеш в чугушке в печи поставила. Смачный, с молоком... А в подприпечке яичко возьми!.. Можешь взять!

— Езжайте уж! — сказал дед. — Уговаривают, ей-богу, как писаря волостного!..

Мать подобрала домотканую свою юбку и привычно усе-лась на телеге, спустив босые потрескавшиеся ноги.

— Дак гляди ж, чтоб стерег хорошо! А то вечером приеду!..

Володька, кажется, ничего не хотел слушать: ни материнских добрых слов, ни дедовой строгости, ни братней угрозы кнутом.

Едва телега тронулась по улице, он, сбывшись, подерживая рукой спадающие штанишки, молчаливо двинулся вслед.

— Вернись, неслух! — услышал он приказ деда, но и не подумал остановиться.

Володька знал, что дед не любил непослушания и что мать тоже не дай бог ввести в гнев, но ему так хотелось ехать на болото, что и страх не удерживал, — Володька для безопасности

Глава вторая

1

Все лето перед хатой Чернушек грелась на солнце молоденькая, с тонким, как хворостинка, стволом рябина. Никто в Куренях, пожалуй, и не заметил, когда и кто ее посадил, не разглядели как следует ее и тогда, когда она апрельским утром оделась в легкое прозрачно-зеленое платье из нежных резных листочков. День за днем любопытно, но несмело смотрела она на улицу, на всех проходивших мимо — скромная, неприметная за неуклюжим забором, близ больших деревьев. Никто не обращал на нее никакого внимания, мыли ее, пестовали только теплые дожди, да любили шуметь молодой листвой ветры. Люди же ее словно не видели, сперва потому, что просто не примечали, а после потому, что незаметно привыкли.

И неожиданно произошло чудо: тихая, неприметная, в августовском расцвете рябина зарозовела, засверкала яркой, броской красотой, горячим полымем огненных гроздей. И не одни глаза, не равнодушные, не очерствевшие в житейских испытаниях, смотрели удивленно, зачарованно: «Гляди ты!..»

Как та рябина, цвела в это лето Ганна. Еще, кажется, вчера была егоза, подросток, а вот уже, смотрите, — в самой доброй поре дивчина, в самой красе своей! И когда только выросла!

Смотрели на Ганну, судили и — за исключением только самых придирчивых кумушек — соглашались: созрела, невеста, ничего не скажешь! Порою при этом — особенно женщины — вспоминали Ганнину мать-покойницу, говорили, что дочка всем пошла в нее. И обличьем — так что вылитая: и невелика ростом, и не гладкая — худая, можно сказать, и плечи, как у матери, узкие, и руки тонкие. И косы черные, густые,

аж блестят, будто смоченные, и лицом такая же смуглявая, и скулы так же выдаются.

Иной раз языки женщин — придиры и завистницы — твердили, что грудь у Ганны маловата, с кулачок: чем только дитя кормить будет, коли доведется? Но при всем том — даже придиры и завистницы не перечили — Ганну никак нельзя было посчитать за квелую: со стороны, с одного взгляда видать было — ядреная у Тимоха дивчина, крепкая, силою вся налилась. Вон какая упругость в походке, какая ловкость в движениях, так и видно — молодость, сила в каждой жилочке!

Тот, у кого было время и охота присмотреться, кто лучше знал Ганну, замечал, что изменилась она не только внешне. Много нового было и в том, как ходила она меж людей — сдержанно и неторопливо, как держалась она с хлопцами — строго и с какой-то насмешливостью. Даже смеялась она теперь иначе — смех был уже не беззаботный, не пустой по-детски, в нем тоже обычно слышалась насмешка, и что-то словно таилось в этом смехе. И смотрела она не как прежде диковато-любопытными глазами. Как и раньше, не было, казалось, такой минуты, чтобы глаза ее, влажно-темные, похожие на спелые вишни, были безразличными, скучными, всегда блестело, сияло в них неумное волнение. Но следили они теперь из-под шелковисто-черных смелых бровей с подстерегающей, сосредоточенной внимательностью и, казалось, только и ждали случая зло посмеяться. Иной раз могли они, как и раньше, сверкнуть весельем, но часто, слишком часто горели в них недоверие и насмешка. В них тоже что-то таилось, в чудесных вишнево-черных глазах.

Почти все куреневские бабы и мужики утверждали, что, обретя степенность, Ганна вместе с тем стала и более беспокойной и даже излишне задиристой. Многим в Куренях не по душе была и ее самоуверенность: чуть ли не каждым поступком своим Ганна, казалось, подчеркивала, что у нее на все свои зрелые суждения, свой твердый взгляд...

Хлопцы и льнули к ней, и словно побаивались. Помимо того что сдерживала Ганнина задиристость и гордость, им помнилось, что не лишне остерегаться и ее язычка. Знали они и то, что Ганну не дай бог ввести в гнев: тогда она сразу

теряет ровность свою, забывает обо всем, загорается одним. Горячая, несдержанная, опасная она, горячка Ганна!..

Василь не очень присматривался, не выгадывал, не рассуждал. Он был для этого слишком уже потрясен и зачарован. Жили рядом, бегали с другими на выгон, пасли скот, сколько лет видел меж других и не знал, не догадывался, кто такая Ганна. И неожиданно, после вечера на лугу, открылось все, и, увидев, почувствовав такое, смущенный, потрясенный, стал сам не свой. Мир словно переиначился сразу.

Он был теперь полон чудес и радости, необычный мир — и все чудеса и радость в нем творила Ганна. Одни ее пальцы, переплетясь с пальцами Василя, делали его счастливым многие ночи. Когда она послушно прижималась к нему, грудь его наполнило странное, непонятное и несказанно хорошее томление. Туман таинственный над болотом, тихий шепот груш — даже они изменились, стали иными, чудесными, благодаря ей. Когда она была рядом, радость, широкая, безмерная, жила в нем, во всем, что окружало их. В этой радости ночи не плыли, а летели и рассветные зори приходили всегда слишком рано. Целыми днями, что бы ни делал, Василь, как заколдованный, вспоминал Ганну, думал о Ганне, искал глазами Ганну, ожидал ночи свидания с Ганной.

Время было не для любви — горячее августовское время. Люди вставали до солнца, возвращались в село в потемках. Поужинав, куреневцы сразу валились спать. Коротки еще в августе ночи, вечер чуть ли не встречается с рассветом, и надо дать утихнуть усталости в руках, ногах, зачугуневшей спине, остыть телу от едкого пота. Василь же, едва только начнут густеть сумерки, видел лишь жердяную изгородь Чернушкового огорода, где стояли первый раз, когда он еще не осмеливался прикоснуться к Ганне, и где с того вечера простаивали все ночи.

Как всегда, спешил и в этот вечер. Хлебнул несколько ложек огуречного рассола, схватил огурец, чтобы доесть дорогой, вскочил из-за стола. Мать, почти невидимая в душном сумраке хаты, сказала:

- Возьми еще. Или вот... редьки кусани...
- Наелся уже...